

В.В. Маяковский

Про это

ПРО ЧТО — ПРО ЭТО?

В этой теме,
и личной
и мелкой,
перепетой не раз
и не пять,
я кружил поэтической белкой
и хочу кружиться опять.
Эта тема
сейчас
и молитвой у Будды
и у негра водрит на хозяев нож.
Если Марс,
и на нем хоть один сердцелюдый,
то и он
сейчас
скрипит
про то ж.
Эта тема придет,
калеку за локти
подтолкнет к бумаге,
прикажет:
— Скреби! —
И калека
с бумаги
срывается в клетоте,
горько строчками в солнце песня рябит.
Эта тема придет,
позвонится с кухни,
повернется,
сгинет шапчонкой гриба́,
и гигант
постоит секунду
и рухнет,
под записочной рябью себя погребя.
Эта тема придет,
прикажет:
— Истина! —
Эта тема придет,
велит:
— Красота! —
И пускай
перекладиной кисти раскистены —
только вальс под нос мурлычешь с креста.
Эта тема азбуку тронет разбегом —
уж на что б, казалось, книга ясна! —

и становится
 — А —
 недоступней Казбека.
 Замутит,
 оттянет от хлеба и сна.
 Эта тема придет,
 вовек не износится,
 только скажет:
 — Отныне гляди на меня! —
 И глядишь на нее,
 и идешь знаменосцем,
 красношелкий огонь над землей знамени.
 Это хитрая тема!
 Нырнет под события,
 в тайниках инстинктов готовясь к прыжку,
 и как будто ярясь
 — посмели забыть ее! —
 затрясет;
 посыпятся души из шкур.
 Эта тема ко мне заявила гневная,
 приказала:
 — Подать
 дней удила! —
 Посмотрела, скривясь, в мое ежедневное
 и грозой раскидала людей и дела.
 Эта тема пришла,
 остальные оттерла
 и одна
 безраздельно стала близка.
 Эта тема ножом подступила к горлу.
 Молотобоец!
 От сердца к вискам.
 Эта тема день истемнила, в темень
 колотись — велела — строчками лбов.
 Имя
 этой
 теме:
 !

I

БАЛЛАДА РЕДИНГСКОЙ ТЮРЬМЫ

Стоял — вспоминаю.
 Был этот блеск.
 И это
 тогда
 называлось Невою.

М а я к о в с к и й, «Человек».
 (13 лет работы, т. 2, стр. 77)

**О балладе
 и
 о балладах**

Немолод очень лад баллад,
 но если слова болят
 и слова говорят про то, что болят,
 молодеет и лад баллад.

Лубянский проезд.
 Водопьяный.
 Вид

вот.
 Вот
 фон.
 В постели она.
 Она лежит.
 Он.
 На столе телефон.
 «Он» и «она» баллада моя.
 Не страшно нов я.
 Страшно то,
 что «он» — это я,
 и то, что «она» —
 моя.
 При чем тюрьма?
 Рождество.

Кутерьма.
 Без решеток окошки домика!
 Это вас не касается.
 Говорю — тюрьма.
 Стол.
 На столе соломинка.

**По кабелю
 пущен
 номер**

Тронул еле — волдырь на теле.
 Трубку из рук вон.
 Из фабричной марки —
 две стрелки яркие
 омолодили телефон.
 Соседняя комната.
 Из соседней
 сонно:
 — Когда это?
 Откуда это живой поросенок? —
 Звонок от ожогов уже визжит,
 добела раскален аппарат.
 Больна она!
 Она лежит!
 Беги!
 Скорей!
 Пора!
 Мясом дымясь, сжимаю жжение.
 Моментально молния телом забегала.
 Стиснул миллион вольт напряжения.
 Ткнулся губой в телефонное пекло.
 Дыры
 сверля
 доме,
 взмыв
 Мясницкую
 пашней,

рвя
кабель,
номер
пулей
летел
барышне.
Смотрел осовело барышнин глаз —
под праздник работай за двух.
Красная лампа опять зажглась.
Позвонила!
Огонь потух.
И вдруг
как по лампам пошло куролесить,
вся сеть телефонная рвется на нити.
— 67–10!
Соедините! —
В проулок!
Скорей!
Водопьяному в тишь!
Ух!
А то с электричеством станется —
под рождество
на воздух взлетишь
со всей
со своей
телефонной
станцией.
Жил на Мясницкой один старожил.
Сто лет после этого жил —
про это лишь —
сто лет! —
говаривал детям дед.
— Было — суббота...
под воскресенье...
Окорочок...
Хочу, чтоб дешево...
Как вдарит кто-то!..
Землетрясение...
Ноге горячо...
Ходун — подошва!.. —
Не верилось детям,
чтоб так-то
да там-то.
Землетрясение?
Зимой?
У почтамта?!

**Телефон
бросается
на всех**

Протиснувшись чудом сквозь тоненький
шнур,
раструба трубки разинув оправу,
погромом звонков грома тишину,
разверг телефон дребезжащую лаву.

Это визжащее,
 звенящее это
пальнуло в стены,
 старалось взорвать их.
Звоночинки
 тыщей
 от стен
 рикошетом
под стулья закатывались
 и под кровати.
Об пол с потолка звонóчище хлопал.
И снова,
 звенящий мячище точно,
взлетал к потолку, ударившись об пол,
и сыпало вниз дребезгою звоночной.
Стекло за стеклом,
 вьюшку за вьюшкой
тянуло
 звенеть телефонному в тон.
Тряся
 ручоночкой
 дом-погремушку,
тонул в разливе звонков телефон.

**Секун-
дантша**

От сна
 чуть видно —
 точка глаз
иголит щеки жаркие.
Ленясь, кухарка поднялась,
идет,
 кряхтя и харкая.
Моченым яблоком она.
Морщинят мысли лоб ее.
— Кого?
 Владим Владимыч?!
 А! —
Пошла, туфлёю шлепая.
Идет.
 Отмеряет шаги секундантом.
Шаги отдаляются...
 Слышатся еле...
Весь мир остальной отодвинут куда-то,
лишь трубкой в меня неизвестное целит.

**Просвет-
ление
мира**

Застыли докладчики всех заседаний,
не могут закончить начатый жест.
Как были,
 рот разинув,
 сюда они
смотрят на рождество из рождеств.
Им видима жизнь
 от дрызг и до дрызг.

Дом их —
 единая будняя тина.
Будто в себя,
 в меня смотрясь,
ждали
 смертельной любви поединок.
Окаменели сиренные рокоты.
Колес и шагов суматоха не вертит.
Лишь поле дуэли
 да время-доктор
с бескрайним бинтом исцеляющей смерти.
Москва —
 за Москвой поля примолкли.
Моря —
 за морями горы стройны.
Вселенная
 вся
 как будто в бинокле,
в огромном бинокле (с другой стороны).
Горизонт распрявился
 ровно-ровно.
Тесьма.
 Натянут бечевкой тугой.
Край один —
 я в моей комнате,
ты в своей комнате — край другой.
А между —
 такая,
 какая не снится,
какая-то гордая белой обновой,
через вселенную
 легла Мясницкая
миниатюрой кости слоновой.
Ясность.
 Прозрачайшей ясностью пытка.
В Мясницкой
 деталью искуснейшей выточки
кабель
 тонюсенький —
 ну, просто нитка!
И все
 вот на этой вот держится ниточке.

Дуэль

Раз!
 Трубку наводят.
 Надежду
брось.
 Два!
 Как раз
остановилась,
 не дрогнув,
 между

МОИХ
 мольбой обволокнувших глаз.
 Хочется крикнуть медлительной бабе:
 — Чего задеетесь?
 Стоите Дантесом.
 Скорей,
 скорей просверлите сквозь кабель
 пульей
 любого яда и веса. —
 Страшнее пуль —
 оттуда
 сюда вот,
 кухаркой оброненное между зевот,
 проглоченным кроликом в брюхе удава
 по кабелю,
 вижу,
СЛОВО ползет.
 Страшнее слов —
 из древнейшей древности,
 где самку клыком добывали люди еще,
 ползло
 из шнура —
 скребущейся ревности
 времен троглодитских тогдашнее чудище.
 А может быть...
 Наверное, может!
 Никто в телефон не лез и не лезет,
 нет никакой троглодичьей рожи.
 Сам в телефоне.
 Зеркалюсь в железе.
 Возьми и пиши ему ВЦИК циркуляры!
 Пойди — эту правильность с Эрфуртской
 сверь!
 Сквозь первое горе
 бессмысленный,
 ярый,
 мозг поборов,
 проскребается зверь.
 Красивый вид.
 Товарищи!
 Взвесьте!
 В Париж гастролировать едущий летом,
 поэт,
 почтенный сотрудник «Известий»,
 царапает стул когтём из штиблета.
 Вчера человек —
 единым махом
 клыками свой размедведил вид я!
 Косматый.
 Шерстью свисает рубаха.

**Что может
 сделаться
 с человеком**

Тоже туда ж!?
 В телефоны бабахать!?
К своим пошел!
 В моря ледовитые!

**Размедве-
женье** Медведем,
 когда он смертельно сердится,
на телефон
 грудь
 на врага тяну.

А сердце
глубже уходит в рогатину!
Течет.
 Ручьища красной меди.
Рычанье и кровь.
 Лакай, темнота!

Не знаю,
 плачут ли,
 нет медведи,
но если плачут,
 то именно так.

То именно так:
 без сочувственной фальши
скулят,
 заливаясь ущельной длиной.
И именно так их медвежий Бальшин,
скуленьем разбужен, ворчит за стеной.
Вот так медведи именно могут:
недвижно,
 задравши морду,
 как те,
повыть,
 извыться
 и лечь в берлогу,
царапая логово в двадцать когтей.
Сорвался лист.
 Обвал.
 Беспокоит.

Винтовки-шишки
 не грохнули б враз.
Ему лишь взмедведиться может такое
сквозь слезы и шерсть, бахромящую глаз.

**Проте-
кающая
комната** Кровать.
 Железки.
 Барахло одеяло.
Лежит в железках.
 Тихо.
 Вяло.

Трепет пришел.
 Пошел по железкам.
Простынь постельная треплется плеском.

Вода лизнула холодом ногу.
Откуда вода?
Почему много?
Сам заплакал.
Плакса.
Слякоть.
Неправда —
столько нельзя заплакать.
Чертова ванна!
Вода за диваном.
Под столом,
за шкафом вода.
С дивана,
сдвинут воды задеваньем,
в окно проплыл чемодан.
Камин...
Окурочок...
Сам кинул.
Пойти потушить.
Петушится.
Страх.
Куда?
К какому такому камину?
Верста.
За верстою берег в кострах.
Размыло все,
даже запах капустный
с кухни
всегдашний,
приторно сладкий.
Река.
Вдали берега.
Как пусто!
Как ветер воет вдогонку с Ладоги!
Река.
Большая река.
Холодина.
Рябит река.
Я в середине.
Белым медведем
влез на льдину,
плыву на своей подушке-льдине.
Бегут берега,
за видом вид.
Подо мной подушки лед.
С Ладоги дует.
Вода бежит.
Летит подушка-плот.
Плыву.
Лихорадюсь на льдине-подушке.
Одно ощущение водой не вымыто:

я должен
 не то под кроватьные дужки,
 не то
 под мостом проплыть под каким-то.
 Были вот так же:
 ветер да я.
 Эта река!..
 Не эта.
 Иная.
 Нет, не иная!
 Было —
 стоял.
 Было — блестело.
 Теперь вспоминаю.
 Мысль растет.
 Не справлюсь я с нею.
 Назад!
 Вода не выпустит плот.
 Видней и видней...
 Ясней и яснее...
 Теперь неизбежно...
 Он будет!
 Он вот!!!

Человек
из-за
7-ми лет

Волны устои стальные моют.
 Недвижный,
 страшный,
 упершись в бока
 столицы,
 в отчаянье созданной мною,
 стоит
 на своих стоэтажных быках.
 Небо воздушными скрепами вышил.
 Из вод феерией стали восстал.
 Глаза подымаю выше,
 выше...
 Вон!
 Вон —
 опершись о перила моста...
 Прости, Нева!
 Не прощает,
 гонит.
 Сжался!
 Не сжалился бешеный бег,
 Он!
 Он —
 у небес в воспаленном фоне,
 прикрученный мною, стоит человек.
 Стоит.
 Разметал изросшие волосы.
 Я уши лаплю.
 Напрасные мнешь!

Я слышу
 мой,
 мой собственный голос.
Мне лапы дырявит голоса нож.
Мой собственный голос —
 он молит,
 он просится:
— Владимир!
 Остановись!
 Не покинь!
Зачем ты тогда не позволил мне
 броситься?
С размаху сердце разбить о быки?
Семь лет я стою.
 Я смотрю в эти воды,
к перилам прикручен канатами строк.
Семь лет с меня глаз эти воды не сводят.
Когда ж,
 когда ж избавления срок?
Ты, может, к ихней примазался касте?
Целуешь?
 Ешь?
 Отпускаешь брюшко?
Сам
 в ихний быт,
 в их семейное счастье
намереваешься пролезть петушком?!
Не думай! —
 Рука наклоняется вниз его.
Грозится
 сухой
 в подмостную кручу.
— Не думай бежать!
 Это я
 вызвал.
Найду.
 Загоню.
 Доконаю.
 Замучу!
Там,
 в городе,
 праздник.
 Я слышу гром его.
Так что ж!
 Скажи, чтоб явились они.
Постановленье неси исполкомово.
Му́ку мою конфискуй,
 отмени.
Пока
 по этой
 по Невской
 по глуби

спаситель-любовь
 не придет ко мне,
 скитайся ж и ты,
 и тебя не полюбят.
 Греби!
 Тони меж домовых камней! —

Спасите! Стой, подушка!
 Напрасное тщенье.
 Лапой гребу —
 плохое весло.
 Мост сжимается.
 Невским течением
 меня несло,
 несло и несло.
 Уже я далёко.
 Я, может быть, за́ день.
 За де́нь
 от тени моей с моста.
 Но гром его голоса гонится сзади.
 В погоне угроз паруса распластал.
 — Забыть задумал невский блеск?!
 Ее заменишь?!
 Некем!
 По гроб запомни переплеск,
 плескавший в «Человеке». —
 Начал кричать.
 Разве это осилите?!
 Буря басит —
 не осилить вовек.
 Спасите! Спасите! Спасите! Спасите!
 Там
 на мосту
 на Неве
 человек!

II

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Фантасти-
 ческая
 реаль-
 ность

Бегут берега —
 за видом вид.
 Подо мной —
 подушка-лед.
 Ветром ладожским гребень завит.
 Летит
 льдышка-плот.
 Спасите! — сигналю ракетой слов.
 Падаю, качкой добитый.
 Речка кончилась —
 море росло.
 Океан —
 большой до обиды.

Спасите!
 Спасите!..
 Сто раз подряд
 реву батареей пушечной.
 Внизу
 подо мной
 растет квадрат,
 остров растет подушечный.
 Замирает, замирает,
 замирает гул.
 Глуше, глуше, глуше...
 Никаких морей.
 Я —
 на снегу.
 Кругом —
 вёрсты суши.
 Суша — слово.
 Снегами мокра.
 Подкинут метельной банде я.
 Что за земля?
 Какой это край?
 Грен-
 лап-
 люб-ландия?

**Боль
были**

Из облака вызрела лунная дынка,
 стену постепенно в тени оттеня.
 Парк Петровский.
 Бегу.
 Ходынка
 за мной.
 Впереди Тверской простыня.
 А-у-у-у!
 К Садовой аж выкинул «у»!
 Оглоблей
 или машиной,
 но только
 мордой
 аршин в снегу.
 Пулей слова матершины.
 «От нэпа ослеп?!
 Для чего глаза впряжены?!
 Эй, ты!
 Мать твою разнэп!
 Ряженный!»
 Ах!
 Да ведь
 я медведь.
 Недоразуменье!
 Надо —
 прохожим,

что я не медведь,
только вышел похожим.

Спаситель Вон
 от заставы
 идет человек.
За шагом шаг вырастает короткий.
Луна
 голову вправила в венчик.
Я уговорю,
 чтоб сейчас же,
 чтоб в лодке.
Это — спаситель!
 Вид Иисуса.
Спокойный и добрый,
 венчаный в луне.
Он ближе.
 Лицо молодое безусо.
Совсем не Иисус.
 Нежней.
 Юней.
Он ближе стал,
 он стал комсомольцем.
Без шапки и шубы.
 Обмотки и френч.
То сложит руки,
 будто молится.
То машет,
 будто на митинге речь.
Вата снег.
 Мальчишка шел по вате.
Вата в золоте —
 чего уж пошловатей?!
Но такая грусть,
 что стой
 и грустью ранься!
Расплывайся в процыганенном романсе.

Романс Мальчик шел, в закат глаза уставя.
Был закат непревзойдимо желт.
Даже снег желтел в Тверской заставе.
Ничего не видя, мальчик шел.
Шел,
вдруг
встал.
В шелк
рук
сталь.
С час закат смотрел, глаза уставя,
за мальчишкой легшую кайму.
Снег, хрустя, разламывал суставы.

Для чего?
 Зачем?
 Кому?
 Был воров-ветром мальчишка обыскан.
 Попала ветру мальчишки записка.
 Стал ветер Петровскому парку звонить:
 — Прощайте...
 Кончаю...
 Прошу не винить...

**Ничего
 не по-
 делаешь**

До чего ж
 на меня похож!
 Ужас.
 Но надо ж!
 Дернулся к луже.
 Залитую курточку стягивать стал.
 Ну что ж, товарищ!
 Тому еще хуже —
 семь лет он вот в это же смотрит с моста.
 Напялил еле —
 другого калибра.
 Никак не намылишься —
 зубы стучат.
 Шерстицу с лапиц и с мордищи выбрил.
 Гляделся в льдину...
 бритвой луча...
 Почти,
 почти такой же самый.
 Бегу.
 Мозги шевелят адресами.
 Во-первых,
 на Пресню,
 туда,
 по задворкам.
 Тянет инстинктом семейная норка.
 За мной
 всероссийские,
 теряясь точкой,
 сын за сыном,
 дочка за дочкой.

**Всехные
 родители**

— Володя!
 На рождество!
 Вот радость!
 Радость-то во!.. —
 Прихожая тьма.
 Электричество комната.
 Сразу —
 наискось лица родни.
 — Володя!
 Господи!
 Что это?
 В чем это?

Ты в красном весь.
Покажи воротник!
— Не важно, мама,
дома вымою.
Теперь у меня раздолье —
вода.
Не в этом дело.
Родные!
Любимые!
Ведь вы меня любите?
Любите?
Да?
Так слушайте ж!
Тетя!
Сестры!
Мама!
Тушите елку!
Заприте дом!
Я вас поведу...
вы пойдете...
Мы прямо...
сейчас же...
все
возьмем и пойдём.
Не бойтесь —
это совсем недалёко —
600 с небольшим этих крохотных верст.
Мы будем там во мгновение ока.
Он ждет.
Мы вылезем прямо на мост.
— Володя,
родной,
успокойся! —
Но я им
на этот семейственный писк голосков:
— Так что ж?!
Любовь заменяете чаем?
Любовь заменяете штопкой носков?

**Путешествие
с мамой**

Не вы —
не мама Альсандра Альсеевна.
Вселенная вся семьею засеяна.
Смотрите,
мачт корабельных щетина —
в Германию врезался Одера клин.
Слезайте, мама,
уже мы в Штеттине.
Сейчас,
мама,
несемся в Берлин.
Сейчас летите, мотором урча, вы:

Париж,
 Америка,
 Бруклинский мост,
 Сахара,
 и здесь
 с негритоской курчавой
 лакает семейкой чай негритос.
 Сомнете периной
 и волю
 и камень.

Коммуна —
 и то завернется комом.

Столетия
 жили своими домками
 и нынче зажили своим домкомом!
 Октябрь прогремел,
 карающий,
 судный.

Вы
 под его огнелёрым крылом
 расставились,
 разложили посудины.
 Паучьих волос не расчешешь колом.
 Исчезни, дом,
 родимое место!
 Прощайте! —
 Отбросил ступёней последок.
 — Какое тому поможет семейство?!
 Любовь цыплячья!
 Любвишка наседок!

**Преснен-
 ские
 миражи**

Бегу и вижу —
 всем в виду
 кудринскими вышками
 себе навстречу
 сам
 иду
 с подарками под мышками.
 Мачт крестами на буре распластан,
 корабль кидает балласт за балластом.
 Будь проклята,
 опустошенная легкость!
 Домами оскалила скáлы далекость.
 Ни люда, ни заставы нет.
 Горят снега,
 и гóло.
 И только из-за ставенек
 в огне иголки елок.
 Ногам вперекор,
 тормозами на быстрые
 вставали стены, окнами выстроаясь.

По стеклам
 тени
 фигурками тира
 вертелись в окне,
 зазывали в квартиры.
 С Невы не сводит глаз,
 продрог,
 стоит и ждет —
 помогут.
 За первый встречный за порог
 закидываю ногу.
 В передней пьяный проветривал бредни.
 Стрезвел и дернул стремглав из передней.
 Зал заливался минуты две:
 — Медведь,
 медведь,
 медведь,
 медв-е-е-е... —

**Муж Фек-
 лы Дави-
 довны
 со мной
 и со все-
 ми знако-
 мыми**

Потом,
 извертясь вопросительным знаком,
 хозяин полглаза просунул:
 — Однако!
 Маяковский!
 Хорош медведь! —
 Пошел хозяин любезностями медоветь:
 — Пожалуйста!
 Прошу-с.
 Ничего —
 я боком.
 Нечаянная радость-с, как сказано у Блока.
 Жена — Фекла Двидна.
 Дочка,
 точь-в-точь
 в меня, видно —
 семнадцать с половиной годочков.
 А это...
 Вы, кажется, знакомы?! —
 Со страха к мышам ушедшие в норы,
 из-под кровати полезли партнеры.
 Усища —
 к стеклам ламповым пыльники —
 из-под столов пошли собутыльники.
 Ползут с-под шкафа чтецы, почитатели.
 Весь безлицый парад подсчитать ли?
 Идут и идут процессией мирной.
 Блестят из бород паутиной квартирной.
 Все так и стоит столетья,
 как было.
 Не бьют —
 и не тронулась быта кобыла.
 Лишь вместо хранителей духов и фей

сам со скатерти крошки вымел.
— Да я не знал!..
 Да я б накануне...
Да, я думаю, занят...
 Дом...
 Со своими...

**Бессмыс-
ленные
просьбы**

Мои свои?!
 Д-а-а-а —
 это особы.
Их ведьма разве същёт на венике!
Мои свои
 с Енисея
 да с Оби
идут сейчас,
 следят четвереньки.
Какой мой дом?!
Сейчас с него.
Подушкой-льдом
плыл Невой —
мой дом
меж дамб
стал льдом,
и там...
Я брал слова
 то самые вкрадчивые,
то страшно рыча,
 то вызвоня лирово.
От выгод —
 на вечную славу сворачивал,
молил,
 грозил,
 просил,
 агитировал.
— Ведь это для всех...
 для самих...
 для вас же...
Ну, скажем, «Мистерия» —
 ведь не для себя ж?!
Поэт там и прочее...
 Ведь каждому важен...
Не только себе ж —
 ведь не личная блажь...
Я, скажем, медведь, выражаясь грубо...
Но можно стихи...
 Ведь сдирают шкуру?!
Подкладку из рифм поставишь —
 и шуба!..
Потом у камина...
 там кофе...
 курят...

Дело пустяшно:
ну, минут на десять...
Но нужно сейчас,
пока не поздно...
Похлопать может...
Сказать —
надейся!..
Но чтоб теперь же...
чтоб это серьезно... —
Слушали, улыбаясь, именитого скомороха.
Катали по́ столу хлебные мякиши.
Слова об лоб
и в тарелку —
горохом.
Один расчувствовался,
вином размягший:
— Поооостой...
поооостой...
Очень даже и просто.
Я пойду!..
Говорят, он ждет...
на мосту...
Я знаю...
Это на углу Кузнецкого моста.
Пустите!
Ну-кося! —
По углам —
зуд:
— Наззз-ю-зззюкался!
Будет ныть!
Поесть, попить,
попить, поесть —
и за бб!
Теорию к лешему!
Нэп —
практика.
Налей,
нарежь ему.
Футурист,
налягте-ка! —
Ничуть не смущаясь челюстей целостью,
пошли греметь о челюсть челюстью.
Шли
из артезианских прорв
меж рюмкой
слова поэтических споров.
В матрац,
поздоровавшись,
влезли клопы.
На вещи насела столетняя пыль.
А тот стоит —
в перила вбит.

Он ждет,
 он верит:
 скоро!
Я снова лбом,
 я снова в быт
вбиваюсь слов напором.
Опять
 атакую и вкривь и вкось.
Но странно:
 слова проходят насквозь.

**Необычай-
ное**

Стихает бас в комариные трельки.
Подбитые воздухом, стихли тарелки.
Обои,
 стены
 блёкли...
 блёкли...
Тонули в серых тонах офортных.
Со стенки
 на город разросшийся
 Бёклин
Москвой расставил «Остров мертвых».
Давным-давно.
 Подавно —
теперь.
 И нету прощя!
Вон
 в лодке,
 скутан саваном,
недвижный перевозчик.
Не то моря,
 не то поля —
их шорох тишь стерт весь.
А за морями —
 тополя
возносят в небо мертвость.
Что ж —
 ступлю!
 И сразу
 тополи
сорвались с мест,
 пошли,
 затопали.
Тополи стали спокойствия мерами,
ночей сторожами,
 милиционерами.
Расчетверившись,
 белый Харон
стал колоннадой почтамтских колонн.

«Ногу, говорите?
 Вот смешно-то!»
 И снова
 в тостах стаканы исчоканы,
 и сыплют стеклянные искры из щек они.
 И снова
 пьяное:
 «Ну и интересно!
 Так, говорите, пополам и треснул?»
 «Должен огорчить вас, как ни грустно,
 не треснул, говорят,
 а только хрустнул».

И снова
 хлопанье двери и карканье,
 и снова танцы, полами исшарканые.
 И снова
 стен раскаленные степи
 под ухом звенят и вздыхают в тустепе.

**Только б
 не ты**

Стою у стенки.
 Я не я.
 Пусть бредом жизнь смололась.
 Но только б, только б не ея
 невыносимый голос!
 Я день,
 я год обыденщине предал,
 я сам задыхался от этого бреда.
 Он
 жизнь дымком квартирошным выел.
 Звал:
 решишь
 с этажей
 в мостовые!
 Я бегал от зова разинутых окон,
 любя убегал.
 Пускай однобоко,
 пусть лишь стихом,
 лишь шагами ночными —
 строчишь,
 и становятся души строчными,
 и любишь стихом,
 а в прозе немею.
 Ну вот, не могу сказать,
 не умею.
 Но где, любимая,
 где, моя милая,
 где
 — в песне! —
 любви моей изменил я?
 Здесь
 каждый звук,
 чтоб признаться,
 чтоб кликнуть.

А только из песни — ни слова не выкинуть.
Вбегу на трель,
на гаммы.
В упор глазами
в цель!
Гордясь двумя ногами,
Ни с места! — крикну. —
Цел! —
Скажу:
— Смотри,
даже здесь, дорогая,
стихами грома обыденщины жуть,
имя любимое оберегая,
тебя
в проклятьях моих
обхожу.
Приди,
разотзовись на стих.
Я, всех оббегав, — тут.
Теперь лишь ты могла б спасти.
Вставай!
Бежим к мосту! —
Быком на бойне
под удар
башку мою нагнул.
Сбору себя,
пойду туда.
Секунда —
и шагну.

**Шагание
стиха**

Последняя самая эта секунда,
секунда эта
стала началом,
началом
невероятного гуда.
Весь север гудел.
Гудения мало.
По дрожи воздушной,
по колебанию
догадываюсь —
оно над Любанью.
По холоду,
по хлопанию дверью
догадываюсь —
оно над Тверью.
По шуму —
настежь окна раскинул —
догадываюсь —
кинулся к Клину.
Теперь грозой Разумовское залил.
На Николаевском теперь
на вокзале.
Всего дыхание одно,

Вот —
 гимназистом смотрел их
 с парты —
 мелькают сбоку Франции карты.
 Воспоминаний последним током
 тащился прощаться
 к странам Востока.

Случайная станция С разлету рванулся —
 и стал,
 и на мель.
 Лохмотья мои зацепились штанами.
 Ощупал —
 скользко,
 луковка точно.
 Большое очень.
 Испозолочено.
 Под луковкой
 колоколов завыванье.
 Вечер зубцы стенные выкаймил.
 На Иване я
 Великом.
 Вышки кремлевские пиками.
 Московские окна
 видятся еле.
 Весело.
 Елками зарождествели.
 В ущелья кремлёвы волна ударяла:
 то песня,
 то звона рождественский вал.
 С семи холмов,
 низвергаясь Дарьялом,
 бросала Тереком
 праздник
 Москва.
 Вздывается волос.
 Лягушкою тужусь.
 Боюсь —
 оступлюсь на одну только пядь,
 и этот
 старый
 рождественский ужас
 меня
 по Мясницкой закружит опять.

Повторение пройденного Руки крестом,
 крестом
 на вершине,
 ловлю равновесие,
 страшно машу.
 Густеет ночь,
 не вижу в аршине.

Луна.
 Подо мною
 льдистый Машук.
Никак не справлюсь с моим равновесием,
как будто с Вербы —
 руками картонными.
Заметят.
 Отсюда виден весь я.
Смотрите —
 Кавказ кишит Пинкертонами.
Заметили.
 Всем сообщили сигналом.
Любимых,
 друзей
 человечьи ленты
со всей вселенной сигналом согнало.
Спешат рассчитаться,
 идут дуэлянты.
Щетинясь,
 щерясь
 еще и еще там...
Плюют на ладони.
 Ладонями сочными,
руками,
 ветром,
 нещадно,
 без счета
в мочалку щеку истрепали пощечинами.
Пассажи —
 перчаточных лавок початки,
дамы,
 духи развевая паточные,
снимали,
 в лицо швыряли перчатки,
швырялись в лицо магазины перчаточные.
Газеты,
 журналы,
 зря не глазейте!
На помощь летящим в морду вещам
ругней
 за газетиной взвейся газетина.
Слухом в ухо!
 Хватай, клеветца!
И так я калека в любовном боленье.
Для ваших оставьте помоев ушат.
Я вам не мешаю.
 К чему оскорбленья!
Я только стих,
 я только душа.
А снизу:
 — Нет!
 Ты враг наш столетний.

Один уж такой попался —
гусар!
Понюхай порох,
свинец пистолетный.
Рубаху враспашку!
Не праздной труса! —

**Последняя
смерть**

Хлеще ливня,
грома бодрей,
бровь к брови,
ровненько,
со всех винтовок,
со всех батарей,
с каждого маузера и браунинга,
с сотни шагов,
с десяти,
с двух,
в упор —
за зарядом заряд.
Станут, чтоб перевесть дух,
и снова свинцом сорят.
Конец ему!
В сердце свинец!
Чтоб не было даже дрожи!
В конце концов —
всему конец.
Дрожи конец тоже.

**То, что
осталось**

Окончилась бойня.
Веселье клокочет.
Смакуя детали, разлезлись шажком.
Лишь на Кремле
поэтовы ключья
сияли по ветру красным флажком.
Да небо
по-прежнему
лирикой звёздится.
Глядит
в удивленье небесная звезда —
затрубадурила Большая Медведица.
Зачем?
В королевы поэтов пролезть?
Большая,
неси по векам-Араратам
сквозь небо потопа
ковчегом-ковшом!
С борта
звздолетом
медведьинским братом
горланю стихи мирозданию в шум,

Скоро!
Скоро!
Скоро!
В пространство!
Пристальной!
Солнце блестит горы.
Дни улыбаются с пристани.

ПРОШЕНИЕ НА ИМЯ.....

Прошу вас, товарищ химик,
заполните сами!

Пристает ковчег.
Сюда лучами!
Пристань.
Эй!
Кидай канат ко мне!
И сейчас же
ощутил плечами
тяжесть подоконничьих камней.
Солнце
ночь потопа высушило жаром.
У окна
в жару встречаю день я.
Только с глобуса — гора Килиманджаро.
Только с карты африканской — Кения.
Голой головою глобус.
Я над глобусом
от горя горблюсь.
Мир
хотел бы
в этой груди горя
настоящие облапить груди-горы.
Чтобы с полюсов
по всем жильям
лаву раскатил, горящ и каменист,
так хотел бы разрыдаться я,
медведь-коммунист.
Столбовой отец мой
дворянин,
кожа на моих руках тонка.
Может,
я стихами выхлебаю дни,
и не увидав токарного станка.
Но дыханием моим,
сердцебиением,
голосом,
каждым острием вздыбленного в ужас
волоса,
дырами ноздрей,
гвоздями глаз,

зубом, искрежешенным в звериный ляг,
ёжью кожи,
 гнева брови сборами,
триллионом пор,
 дословно —
 всеми пороами
в осень,
 в зиму,
 в весну,
 в лето,
в день,
 в сон
не приемлю,
 ненавижу это
все.
Все,
 что в нас
 ушедшим рабьим вбито,
все,
 что мелочинным роем
оседало
 и осело бытом
даже в нашем
 краснофлагом строе.
Я не доставлю радости
видеть,
 что сам от заряда стих.
За мной не скоро потянете
об упокой его душу таланте.
Меня
 из-за угла
 ножом можно.
Дантесам в мой не целить лоб.
Четырежды состарюсь — четырежды омоложенный,
до гроба добратся чтоб.
Где б ни умер,
 умру поя.
В какой трущобе ни лягу,
знаю —
 достоин лежать я
с легшими под красным флагом.
Но за что ни лечь —
 смерть есть смерть.
Страшно — не любить,
 ужас — не сметь.
За всех — пуля,
 за всех — нож.
А мне когда?
 А мне-то что ж?
В детстве, может,
 на самом дне,

десять найду
 сносных дней.
 А то, что другим?!
 Для меня б этого!
 Этого нет.
 Видите —
 нет его!
 Верить бы в загробь!
 Легко прогулку пробную.
 Стоит
 только руку протянуть —
 пуля
 мигом
 в жизнь загробную
 начертит гремящий путь.
 Что мне делать,
 если я
 вовсю,
 всей сердечной мерою,
 в жизнь сию,
 сей
 мир
 верил,
 верую.

Вера Пусть во что хотите жданья удлинятся —
 вижу ясно,
 ясно до галлюцинаций.
 До того,
 что кажется —
 вот только с этой рифмой
 развяжись,
 и вбежишь
 по строчке
 в изумительную жизнь.
 Мне ли спрашивать —
 да эта ли?
 Да та ли?!
 Вижу,
 вижу ясно, до деталей.
 Воздух в воздух,
 будто камень в камень,
 недоступная для тленов и крошений,
 рассыавшись,
 выситя веками
 мастерская человечьих воскрешений.
 Вот он,
 большелобый
 тихий химик,
 перед опытом наморщил лоб.

Книга —
 «Вся земля», —
 выискивает имя.
 Век двадцатый.
 Воскресить кого б?
 — Маяковский вот...
 Поищем ярче лица —
 недостаточно поэт красив. —
 Крикну я
 вот с этой,
 с нынешней страницы:
 — Не листай страницы!
 Воскреси!

Надежда Сердце мне вложи!
 Кровищу —
 до последних жил.
 в череп мысль вдолби!

Я свое, земное, не дожил,
 на земле
 свое не долюбил.
 Был я сажень ростом.
 А на что мне сажень?
 Для таких работ годна и тля.
 Перышком скрипел я, в комнатенку всажен,
 вплющился очками в комнатный футляр.
 Что хотите, буду делать даром —
 чистить,
 мыть,
 стеречь,
 мотаться,
 мечь.

Я могу служить у вас
 хотя б швейцаром.
 Швейцары у вас есть?
 Был я весел —
 толк веселым есть ли,
 если горе наше непролазно?
 Нынче
 обнажают зубы если,
 только чтоб хватить,
 чтоб
 лязгнуть.

Мало ль что бывает —
 тяжесть
 или горе...

Позовите!
 Пригодится шутка дурья.
 Я шарадами гипербол,
 аллегорий
 буду развлекать,

стихами балагурия.
 Я любил...
 Не стоит в старом рыться.
 Больно?
 Пусть...
 Живешь и болью дорожась.
 Я зверье еще люблю —
 у вас
 зверинцы
 есть?
 Пустите к зверю в сторожа.
 Я люблю зверье.
 Увидишь собачонку —
 тут у булочной одна —
 сплошная плешь, —
 из себя
 и то готов достать печенку.
 Мне не жалко, дорогая,
 ешь!

Любовь

Может,
 может быть,
 когда-нибудь,
 дорожкой зоологических аллей
 и она —
 она зверей любила —
 тоже ступит в сад,
 улыбаясь,
 вот такая,
 как на карточке в столе.
 Она красивая —
 ее, наверно, воскресят.
 Ваш
 тридцатый век
 обгонит стаи
 сердце раздиравших мелочей.
 Нынче недолюбленное
 наверстаем
 звездностью бесчисленных ночей.
 Воскреси
 хотя б за то,
 что я
 ПОЭТОМ
 ждал тебя,
 откинул будничную чушь!
 Воскреси меня
 хотя б за это!
 Воскреси —
 свое дожить хочу!
 Чтоб не было любви — служанки

замужеств,
 похоти,
 хлебов.
Постели прокляв,
 встав с лежанки,
чтоб всей вселенной шла любовь.
Чтоб день,
 который горем старящ,
не христарадничать, моля.
Чтоб вся
 на первый крик:
 — Товарищ! —
оборачивалась земля.
Чтоб жить
 не в жертву дома дырам.
Чтоб мог
 в родне
 отныне
 стать
отец,
 по крайней мере, миром,
землей, по крайней мере,— мать.

1923